Дмитрий ДАРСКИЙ

О РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Мистико-аскетический роман — так его назвал один из критиков-шестидесятников[1]. Пожалуй — мистический, так как в нем участвуют наравне с реальными людьми лица, принадлежащие к иному миру: призраки, умершие, видения. Во-вторых, так привычная нам психология, накатанная и утрамбованная, явно недостаточна для понимания вытекающих из нее поступков. Она все время прерывается необъяснимыми вспышками, вторгаются порывы, неведомо откуда идущие. По силе их и загадочности человек узнает их нездешнее происхождение. И это не предвзятое представление, не домысел. Сам автор внушает нам не высказываемую открыто мысль. Устами старца Зосимы со всею определенностью он указывает на неземное происхождение наших душевных переживаний. «Многие из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных».

Чтобы не приберегать эффект для более выигрышного места я хочу тотчас подойти к моменту, вокруг которого сосредоточивается все действие романа. И идеологически и композиционно он высится как вершина, разделяя роман на равные половины. К нему стремится подъем, от него начинается спуск к развязке. Я говорю об убийстве Федора Павловича. С необыкновеннейшей тщательностью проведена Достоевским психологическая подготовка, именно с тем расчетом, чтобы показать всю неизбежность преступления именно рукою Димитрия. Мобилизованы все чувства, все страсти, все мучительнейшие и злобные переживания, чтобы стало несомненным, что иначе и не могло произойти. Гнев и раздраженность на обокравшего отца, безумная ревность к Грушеньке, его истерзавшей; другая пытка, в которой его держала Ека-

[1] М. А. Антонович в статье 1881 года «Мистико-аскетический роман» — Ред.

терина Ивановна; доводящая до умопомешательства идея трех тысяч, которые он должен вернуть, мука безвыходности своего положения, наконец, личное омерзение, какое в нем возбуждал отвратительный облик отца. Все это общий психологический фон. А на нем более близкие частные раздражения. Мытарства в поисках денег, унизительные заискивания перед Самсоновым, пьяный идиотизм Лягавого, беспардонная болтовня Хохлаковой, голод, усталость, валящая с ног головная боль от ночного угара, душевный мрак и отчаянье. И безысходное одиночество. И в этом-то состоянии услыхать, что Грушенька убежала к отцу. Когда-то мерещилась эта минута, что вот она убежит к старику. Он отвечал твердо: тогда убью старика. На бегу схватив из ступки медный пестик, Митя бросился в отцовский сад. И вот он под окном. Простучал знаки в стекло, и старик высунул голову. Старик чуть не вылез весь к нему в окно, и весь столь противный ему профиль, весь отвисший кадык его, нос крючком, губы, улыбающиеся в сладострастном ожидании — все это было ярко освещено косым светом лампы. «Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити: «Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни!» Это был прилив той самой внезапной мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше: «Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет *своим лицом в ту самую минуту*»... Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана...».

Прокурор смеется. Прокурор саркастически издевается, описывая эту сцену, описывая именно так, как она должна представляться всякому здравомыслящему уму. «И вот он в отцовском саду — после чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях и, может быть, смеется над ним в эту минуту — захватывает ему дух. Да и не подозрение только — какие уже теперь подозрения — обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами, — и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон из беды, чтобы чего не произошло опасного и безнравственного, — и нас хотят в этом уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же

мог отпереть дом и войти». Прокурор вправе смеяться. Вправе потому, что в распоряжении человеческого мышления нет аргументов, которыми можно было бы поколебать убедительность его доказательств. Скажите, что можете вы найти в плане душевных сил, что могли бы противопоставить всей мощи изображенных страстей? Вопрос ясен, и конечно момент мог закончиться только убийством. Адвокат, правда, что-то упоминает про благочестивость чувств, но это лишь по обязанности нанятой совести, чему он и сам не верит. Несравненно горячее у него подано, когда он представляет дело так, как оно, по его мнению, да и по мнению всякого, должно было произойти. «Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: все поднялось в одну минуту! Это был эффект безумства и помешательства, но и эффект природы, мстящей за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и все в природе».

Адвокат мыслит как позитивист, по законам психологии природы, которые не знают исключения. Становясь на место своих судей, сам Митя готов признать невозможность для них иного взгляда.

«—А ведь вы, господа, в эту минуту надо мной насмехаетесь! — прервал он вдруг.

— Почему вы так заключаете? — заметил Николай Парфенович.

— Ни одному слову не верите, вот почему! Ведь понимаю же я, что до главной точки дошел: старик теперь там лежит с проломленной головой, а я — трагически описав, как хотел убить и как уже пестик выхватил, я вдруг от окна убегаю... Поэма! В стихах! Можно поверить на слово молодцу! Ха-ха! Насмешники вы, господа!».

Но ведь и сам Достоевский отказался от изображения внезапного переворота, происшедшего с Митей, а дает лишь косвенное наведение на мысль. Ведь это факт колоссального значения, что в наивысший и ответственнейший момент вместо всякого психологического объяснения он дает нам — что? Ряд точек, идущих через всю страницу. Отказ, перерыв в повествовании с необыкновенной силой художественного эффекта должен был указать на бессилие всякого человеческого понимания и слова. Но не потому ли мог себе позволить Достоевский такой перерыв, что хронологически к той же самой минуте относится ранее стоящая глава «Кана Галилейская», самая существенная во всей книге, а может быть,

и в романе (см. письма)? То была та самая ночь, а, может быть, и час, когда Алеша задремал около гроба старца. В полусне он слышит отрывки из Иоаннова евангелия.

«Но что это, что это? Почему раздвигается комната... Ах да, ведь это брак, свадьба... да, конечно. Вот и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа... Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната... Кто встает там из-за большого стола? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе...

Но он и здесь... встал, увидал меня, идет сюда... Господи!.. Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют».

Картина вставшего из гроба Зосимы так ярка, переворот, происшедший вслед за тем с Алешей так решителен («Пал он на землю слабым юноей, а встал твердым на всю жизнь бойцом»), что Достоевский вправе оставить без опровержения все законное недоверие прокурора, да и любого слушателя, и в противовес выдвинуть то, что прокурор считает самым нелепым и неправдоподобным объяснением, как Митя глядел в окно отцу и как он почтительно отошел от окна.

«— Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и... и что же произошло затем?

— Затем? А затем убил... хватил его в темя и раскроил ему череп... Ведь так, по-вашему, так?..

— По-нашему, — проговорил Николай Парфенович, — ну, а по-вашему?

Митя опустил глаза и долго молчал.

— По-моему, господа, по-моему, вот как было, — тихо заговорил он, — слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение, — не знаю, но черт был побежден».

Но не пролетавший дух и не безымянный ангел-хранитель, как говорил Митя в другой раз, и не бог сторожил его, как он думал в тот момент. Его сторожил знакомый из романа персонаж — умерший старец Зосима.

«Делай неустанно, — поучал при жизни старец. — Если вспомнишь в нощи, отходя ко сну: «Я не исполнил, что надо было», то немедленно восстань и исполни».

Алешу старец не один раз и настойчиво посылал к братьям. «Ступай и поспеши. Около братьев будь».

«— Был ли у своих и видел ли брата?.. Поспеши найти, завтра опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить».

Но вот благодаря преждевременному тлению, охватившему тело Зосимы, Алеша впал в смятение, и Митя был забыт и предоставлен себе. Зосиме самому пришлось восстать и исполнить.

Дмитрий сам хорошенько не знал, кто посетил его в ту минуту, но Алеша говорил на суде твердо: «Я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что *не он* убил отца моего».

Прокурор, конечно, допытывается. «Почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата?

— Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

— Только по лицу? В этом все ваши доказательства?

— Более не имею доказательств».

Иван также, по словам московского доктора, наяву видит видения, встречает на улице разных лиц, которые уже померли. Но этой темы Достоевский не развил.

Произошло чудо в прямом и точном смысле слова, то есть вмешательство в естественный ход вещей неведомой силы, как если бы сам собою остановился шар, летящий по гладкой наклонной плоскости. И как бы ни судили прокурор и защитник, какую бы ни прикидывали каждый на свой лад психологию о двух концах— все это было сослепу, ибо здесь не было ни психологии, ни концов, ни начал.

Перед нами пример вторжения в естественную связь событий сверхприродной силы. Эта сила принадлежит, на этот раз, умершему человеку и проявляется для одних как сонное видение, для других как неуловимое касание, вернее, веяние (...).

II

КРУГИ

Действие развертывается в трех кругах: в одном большом и в двух малых. Почти независимые друг от друга, они пересекаются короткими дугами, только узким отрезком вдаваясь друг в друга. Круг первый — это семья Карамазовых

и лица, связанные с нею. Два малых: монастырь и детвора. В середине каждого круга возвышается свое центральное лицо, вокруг которого группируется кучка приближенных. Смерть этого лица выступает тем направляющим фактором, который сближает участников данной группы и куда устремляется движение ускоряющихся событий. Три лица эти для первого круга — Федор Павлович Карамазов, для второго — старец Зосима, для третьего — Илюша. Но не только к каждой из трех смертей направляется ход предшествующих событий, но и отсюда с неотвратимой необходимостью вытекает поток последующих фактов. У меня складывается образ. В воду падает камень и от него разбегаются круги, все шире и шире распространяясь по поверхности, становясь все более неприметными и, наконец, совсем исчезают в водной ряби. Представим себе обратное движение. Где-то, в самых различных и отдаленнейших пунктах волнующейся жизни, возникает множество отдельных происшествий. Человеческому уму они кажутся совершенно разрозненными и независимыми случаями, но, как позднее обнаружится, все они принадлежат к одной общей, затерявшейся в пространстве и времени окружности. И так в темной дали из однородных вибраций образуются незаметные концентрические волны, обусловленные предопределенным центром. Возрастая в размере, со все убыстряющейся скоростью они сбегаются к катастрофе, которая неминуемо разразится. Но они не только сбегаются к ней, они несут ее в себе, как будущий результат в них самих заключенных слагаемых. Гулко падает катастрофический факт, прорывая толщу слепой обывательщины. Вслед за этим, вереница новых кругов раздвигается в ширь дальнейшей жизни участников, унося последствия разразившегося события. — Другое сравнение. Узким отверстием соединены две воронки. Действия людские несутся по спирали, увлекаемые водоворотом, пока не рухнут в узкое горлышко. Пройдя через трагическую смерть, они обратным ходом удаляются, замедляя скорость, по стенкам бесконечного конуса. Такова схема драматического действия в «Братьях Карамазовых».

Самый род смерти замышляется автором с тем расчетом, чтобы в нем обнаружить законы, господствующие в каждом из трех кругов. Убийство Федора Павловича для него было возмездием, вызванным целым скопищем превысивших всякую меру непотребств и беспутства, в то же время оно было страшным разрядом накопившихся преступных умыслов и ненавистных желаний, какими насыщена жизнь людей мир-

ских и людей взрослых. Страдальческая смерть Илюши-мученика, первоначально тоже вызванная грехом и злобой, тяготеющей над человеком, под конец до последней возможности унежена незаказанным растворением детских сердец. И подобно падению созревшего плода, совершается кончина праведного старца, завершая процесс благостного бытия. Не злодейство и не мука, а благодатное успение среди безмолвной братии, ибо восполнилась земная радость до пределов природы земной.

Убийство произошло. Бесстрастно и кратко формулируется судебным чиновником то, что совершилось, наконец, в плане материального мира. «Мы нашли его лежащим на полу, навзничь, в своем кабинете, с проломленной головой». Голос прокурора звучит неторопливо и глухо, но в ледяных словах его так отозвалось событие, которое много лет собиралось и нависало над беспутной головой Федора Павловича. В последние дни оно почти осязаемо ощущалось всеми, кто хотя бы понаслышке был знаком с драмой в семье Карамазовых. Алеша измучился стоявшим перед ним, как гора, роковым и неразрешимым вопросом: чем кончится у отца с братом Дмитрием пред этою страшною женщиной. Что Дмитрий Федорович «что-то нелепое над родителем своим учинят», — с злодейским расчетом ожидал Смердяков. «Что один гад съест другую гадину», — с отвращением предвидел Иван. Ракитин с злорадством возглашал, что старец «уголовщину пронюхал». Наконец, весь город трещал о неминуемом столкновении соперников. Но тут круг уже почти сомкнулся в страшной точке. Попытаемся подняться к верховьям стремнины, туда, где течение только возникает, где оно теряется в зарослях и камышах. Судебное обвинение, предъявленное Дмитрию Федоровичу, сформулировано так: убил с целью грабежа, преднамеренно. Вердиктом присяжных Митя был признан виновным. Однако из романа мы знаем, что произошла судебная ошибка и на самом деле не Митя убил. Всем содержанием романа ставится вопрос: кто в действительности виновен в убийстве, на ком лежит ответственность? Мы, читатели, узнаем от автора, что осталось скрытым от всего судебного следствия, что фактическим убийцею был Смердяков. Достоевский однако неизмеримо шире распространяет ответственность. В том виде, в каком сформулировано обвинение: убил с заранее обдуманным намерением, с целью грабежа, — виновных нет. Не хватает в формуле того или другого члена. Но частично в какой-то доле — все. В

этом и состоит оригинальность романа. Мы будем расплетать каждое волокно в отдельности.

В светлую и теплую сентябрьскую ночь кучка разгулявшихся господ, под хмельком, в наиприятнейшем расположении духа возвращались из клуба. Это было давненько, лет двадцать пять тому назад. У плетня, в крапиве и лапушнике компания остановилась над спящей Лизаветой Смердящей. Кому-то вдруг пришел в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему: можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было счесть такое животное за женщину. Одни с омерзением тут же отвергли подобную мысль. Но Федор Павлович мигом выскочил и провозгласил, что за женщину принять можно и даже очень, и что тут даже есть особо пикантное. Кто-то стал подстрекать Федора Павловича, но остальные расплевались еще с большим негодованием. С чрезмерной веселостью все разошлись по домам. Федор Павлович уверял клятвенно, что и он удалился с другими. Но случилось так, что через девять месяцев Лизавета перелезла через забор в сад к Федору Павловичу и в бане родила младенца, доставив таким образом родителю на дом его будущего убийцу.

В другом уездном захолустье заезжий поляк обольстил семнадцатилетнюю девочку и тотчас бросил, оставив ее в позоре и нищете. Случай ничтожный, и кто мог бы предсказать, как обернется поступок армейского прощелыги. Но впоследствии даже талантливый господин Ракитин с ясностью проводит зависимость. В молодом сердце затаился гнев. Прошло пять лет, и из обиженной и жалкой сиротки вышла полнотелая красавица, гордая и наглая, с характером лютым и насмешливым. Единственно для игры, для злобной игры, из мстительности всем и всему, завертев вокруг себя отца и сына, она стукнула их лбами. Митей забавлялась, чтобы к прежнему не бежать, Митю толкнула в роковую ночь под окно к отцу-сопернику. Через полчаса был найден труп с проломленным черепом.

В каком-то еще городишке, где-то на Кавказе, купец Трифонов, бородач в золотых очках, взял у подполковника для оборота на ярмарке казенные деньги — и не вернул их. Чтобы спасти отца от позора растраты, дочь-институтка прибежала в сумерки за обещанными деньгами к офицеру-кутиле. Так состоялась в тот «вечно проклятый день» первая встреча Екатерины Ивановны с Дмитрием, навсегда связавшая их любовью-ненавистью. Чтобы возвратить «роковой Кате» ее

мстительные три тысячи, у Митеньки родилось пьяное решение проломить отцу голову и взять у него под подушкой. Так опять мы приведены к трупу.

Отдаленные, разрозненные и видимо совсем между собой не связанные факты, передаваясь по радиусам через ряд промежуточных, вдруг смыкаются в общем, никем не предвиденном центре. Можно подумать, что убийство Фдора Павловича, во времени еще не наступившее, уже заложено где-то в четырехмерном пространстве, и такое существование факта только обнаруживается перед взорами людей в эмпирическом плане, как тяготение к чему-то еще не совершившемуся, но неизбежному. Так ускоряющееся почему-то течение реки, непонятное, если наблюдать в отдалении, вызывается нахождением за сколько-то километров водопада, в который через некоторое время волнам предстоит свергнуться. «Все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается». В словах старца Зосимы так выражается коренная идея романа. Значение факта не может быть измерено, если рассматривать его изолированно; на самом деле существуют сложнейшие системы фактов. Факт это не точка, а кусочек на длинном волокне, мало того: волокно в свою очередь вплетается в ткань, которая имеет общий рисунок, и только местом в рисунке определяется значение отдельных точек (...)

Что-то страшное сгустилось вокруг Федора Павловича. Минутами близость обступающих сил как бы прорывала оболочку материальности и почти физически становилась ощутимой встревоженной чуткости человека. Свою обреченность и приближение чего-то угрожающего острее всех ощущал по временам сам Федор Павлович. «Бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Федор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке, которую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были почти болезненные случаи: развратнейший и в сладострастии своем часто жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшееся в душе его. «Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы», — говаривал он иногда. Вот в эти-то мгновения он и любил, чтобы подле, поблизости, пожалуй хоть и н е в той комнате, а во флигеле, был такой человек, преданный, твердый, совсем не

такой, как он, не развратный, который хотя бы все это совершающееся беспутство и видел, и знал все тайны, но все же из преданности допускал бы это все, не противился, главное — не укорял и ничем бы не грозил ни в сем веке, ни в будущем; а в случае нужды так бы и защитил его, — от кого? От кого-то неизвестного, но страшного и опасного».

Странные, необъяснимые срывались у него такими минутами слова, необъяснимые, если не иметь в виду бессознательной встревоженности нервов. «Алеша, милый, единственный сын мой, я Ивана боюсь; я Ивана больше, чем того, боюсь. Я только тебя одного не боюсь». «Не зарезать же меня тайком и он приехал сюда? — опасливо шепчет он в другой раз. — Для чего-нибудь да приехал же?»

Сцена последнего прощания Алеши с отцом жутко действует на нас наплывом гнетущих предчувствий.

«Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо. — Ты чего это? — удивился немного старик. — Еще увидимся ведь. Аль думаешь, не увидимся? — Совсем нет, я только так, нечаянно. — Да ничего и я, и я только так... — глядел на него старик... — Да завтра, слышишь, завтра приходи!» Но завтра для него не наступило. Вокруг него образовалась пустота. Как помешанный, бродил он по пустынным комнатам, и ночь его облегла.

А у Дмитрия Федоровича была своя обреченность. Впервые тончайшим касанием она тронула старца Зосиму. Знаменитый поклон его страшно поразил Алешу своим таинственным смыслом, таинственным, а может быть и ужасным. «Показалось мне, — объясняет Зосима позднее свой непроизвольный порыв, — показалось мне вчера нечто страшное... Словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд... так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица... как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась... Но все от Господа и все судьбы наши». Доведя до конца чтение романа, мы понимаем, что предуготовано было обоим Карамазовым. Отцу — получить «всю мзду», а Дмитрию — принять крещение в смерть, чтобы «ходить в обновленной жизни. «Я вчера великому будущему страданию его поклонился», — так объясняет Зосима смысл своего поклона.

Поразительно и страшно следить, как преломляются предначертания иных миров в нашей земной обывательщине. В тысяче мелочей, ничтожных самих по себе, но подавляюще действующих в совокупности, проявляется твердая направляющая рука. С необычайной распорядительностью подбирает Достоевский ряд этих случайностей, пустяков и совпадений, которые однако все вместе от этапа к этапу влекут и толкают Дмитрия в сад к отцу, из сада в Мокрое, из Мокрого в суд и далее вдоль по каторге.

Шагая в темноте, Митя наступил на старушонку. По голосу то оказалась работница купца Самсонова. Не натолкнись на нее в ту минуту, он шагал бы далее в том же беспамятстве. Весть о том, что Грушеньки давно нет в доме ее покровителя, бросила Митеньку в припадке ревности на квартиру возлюбленной. Впоследствии на суде прокурор обращает внимание на роковое значение неумышленной лжи прислуги Грушеньки, Фени: «успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром с «прежним» и «бесспорным» — ничего бы и не было». Но она опешила от страха, заклялась-забожилась в незнании, и Митя сломя голову бросился к злодею-отцу. Пробегая обратно через кухню, он на пути зачем-то выхватил из ступки медный пестик. Защитник в свою очередь отмечает всю непреднамеренность этого поступка. «Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль: ну что, если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? — ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил». Но вот как оказалось, Федор Павлович был убит ударом по голове тупым орудием, и сразу же этот пестик, к тому же так кстати брошенный на видном месте, превратился в колоссальнейшую улику. На предварительном допросе следователь усиленно допытывается у Мити, как он «вооружился» этим пестиком.

«— Какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким орудием?»

Митя ошеломлен, в Митеньке кипит досада.

— Какую цель? Никакой цели! Захватил и побежал.

— Зачем же, если без цели?..

— Ну, от собак схватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай.

— А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?»

Следователь добивается доказать обдуманность намерения Мити, но какую силу имеют субъективные мотивы у человека, захваченного в роковую быстрину?

Но будем далее следовать за движениями Дмитрия. Митя несется, но не нужно ли сказать: его несет, его принесло к дому отца? Вихрем прибило его к освещенному окну. Всем могуществом нравственных потрясений, мучительных тревог и неистовой ревности он заряжен к преступлению. Уже предстал перед ним омерзительный образ отца, уже прилив внезапной мстительной злобы его захлестнул, уже пестик он выхватил из кармана. Нет сил в естественном психологическом плане его остановить. Но вдруг что-то произошло, стряслось что-то невероятное и чрезвычайное, чего не могут понять ни читатель, ни автор, ни действующее лицо, — и поднятая рука была остановлена в воздухе.

А затем ряд новых случайностей, которые влекут Митю по иному пути: от преступления к страданью. Как раз в то самое время проснулся больной Григорий Васильевич. Обычно выкушав свою крепчайшую настойку, он спал мертвым сном, но тут вдруг проснулся. Конечно, это легко объяснимо. «Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа «в такое опасное время»... Хотел он только глянуть с крылечка, ибо боль в пояснице была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитка в сад не заперта». Он ступил в сад, «и вдруг как раз в то самое мгновение», математически точно ни секундой раньше, ни позже мимо него пробегает Дмитрий. У забора старик был повержен наотмашь, успев прокричать в ночь: «отцеубивец!» Повержен был он без памяти, чтобы Федор Павлович оставался без защиты, однако был он только ошеломлен ударом, но не убит, чтобы впоследствии стать самым страшным свидетелем. Быстро и отчетливо сообразил все значение такого оборота Смердяков. «Воротился к себе на кровать, лег и да и думаю в страхе: вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то оченно хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть они и убили и деньги унесли-с».

А Федор Павлович был все же убит Смердяковым, которому «вскочило в голову» то, чего он не мыслил никогда: «все это покончить внезапно-с». «Самым естественным манером сделано было-с». Тем временем Митенька снова в доме Грушеньки. «На грех отлучился на верх к барыне» дворник, ко-

торого Феня только что молила не впускать капитана, а тот оставив при калитке племянника-парня, про капитана забыл приказать. Только теперь Митя услыхал об отъезде Грушеньки в Мокрое. Полчаса назад Феня божилась, клялась, что не знает ничего, но тут с удивительной готовностью начинает выкладывать всю «правду-правдинскую», как бы спеша изо всех сил услужить ему. И вот Митя слышит громовое известие о «прежнем и бесспорном».

«Дмитрий Федорович сидел и не то чтобы соображал, а был как бы в испуге, точно в каком-то столбняке. Но все было ясно как день: этот офицер — он знал про него, знал ведь отлично все, знал от самой же Грушеньки, знал, что месяц назад он письмо прислал. Значит, месяц, целый месяц это дело велось в глубокой от него тайне до самого теперешнего приезда этого нового человека, а он-то и не думал о нем! Но как мог, как мог он не думать о нем? Почему он так-таки и забыл тогда про этого офицера, забыл тотчас же как узнал про него? Вот вопрос, который стоял перед ним, как какое-то чудище. И он созерцал это чудище действительно в испуге, похолодев от испуга».

Перейдем теперь на линию действительного убийства. Смердяков прикончил барина и тотчас, как услужливые исполнители, побежали проворные фактики, чтобы вывести судебные власти на след Дмитрия. Проснулась Марфа Игнатьевна. Всякий раз бывало спала непробудно от своей настойки, а тут «вдруг однако же пробудилась». Сосед Фома, обычно пропадавший неделями на охоте, как раз в эту ночь заночевал дома, и только под его охраной перепуганные женщины осмелились пойти на место преступления. В доме исправника, куда прибежала Марья Кондратьевна, как будто нарочно, собрались все, кому надо быть, чему потом немало дивились. «А между тем, дело было гораздо проще и произошло крайне естественно». Комизм этих естественных и, конечно, бесспорных объяснений Достоевский подчеркивает подробнейшим и педантически-точным отчетом, в котором нескрываемая ирония переходит в открытое глумление. Так, у супруги прокурора болели зубы, и он спешил убежать от ее стонов. Становой как раз накануне прибыл в город за жалованьем. Что касается следователя, то этот еще за три дня задумал «вдруг и коварно поразить старшую барышню тем, что ему известен ее секрет, что он знает, что сегодня день ее рождения и что она нарочно пожелала скрыть его, чтобы не созывать город на танцы. Предстояло много смеху и намеков на

ее лета, что она будто бы боится их обнаружить, что теперь, так как он владетель ее секрета, то завтра же всем расскажет и, проч., и проч. Милый молоденький человек был на этот счет большой шалун...» А Перхотин? Что это за непреоборимое беспокойство, дошедшее постепенно до муки, о котором он всю жизнь потом вспоминал, которое увлекло его даже против воли и вопреки всем доводам разума заставило довести свое расследование до конца, обойти ночью все дома и вломиться к незнакомой даме? «О, это черт сделал, черт отца убил, — восклицает пораженный Дмитрий, — через черта и вы так скоро узнали! Как сюда-то так скоро поспели? Диво, фантазия!».

До последней степени поражает читателя, какою неотвратимой силой все сплелось так, чтобы обвинение обрушилось на голову Мити. Эта особенность дела была главнейшим аргументом на судебном разбирательстве. Прокурор твердо указывает на «трагическую и вопиющую совокупность фактов». С еще большей настойчивостью направляет внимание защитник на эту особенность дела, которую он формулирует так: «подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе!» И конечно первым встает перед нами самый главный, громовой факт. Митя был под окошком отца, был вне себя, весь заряженный ненавистью, — прошло едва несколько минут, и старик в самом деле убит. Прежде всех ошеломлен огромностью случая сам Дмитрий: «Но кто же убил отца? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!» Впрочем, надо начинать гораздо раньше. У Мити еще в мыслях ничего не было, а он уже был ославлен отцеубийцей. «Слышите вы, монахи, отцеубийцу!» Впервые это провозгласил сам Федор Павлович в келье у старца. Как отклик крик этот раздается вторично в темноте ночи: «отцеубивец» — прокричал Григорий на всю окрестность. Этот вопль конечно услыхали — услыхала его Марья Кондратьевна и припомнила на бегу к исправнику. Как будто тот же вопль, пронесясь через улицы и стены, проник к Хохлаковой, и та с первых же слов Перхотина стремительно заявила: «Это он старика-отца своего убил!» Все было против Дмитрия Федоровича. Эта враждебная предубежденность общества, какую Митенька успел на себя накликать, кровь, текущая с пальцев, которая всем кидалась в глаза, пачки денег в кровавых руках, которых однако же не было за полчаса перед тем, сильнейший припадок Смердяко-

ва, который «принадлежит науке» и который делал несомненной его непричастность, убийственное письмо, написанное с пьяных глаз, эта масса изречений и показаний, жестов и криков и все подавляющее множество улик и свидетельств — да, эта совокупность ужасна! Трагедия появилась на суде выпукло, концентрично, освещенная роковым неумолимым светом. Фетюкович — тот не сдается. Фетюкович еще хочет бороться. Но как? Аналитически, порознь, с каждым фактом в отдельности, только так, как может бороться обычный эвклидовский ум. «Вот чтобы разобрать эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело». Это звучит гордо и самонадеянно. Но, разбивая в отдельности улики, Фетюкович так и не задумался над смыслом всей совокупности. То, что утаено было от умных, открылось младенцу — Мите. «Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимало муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!»

Довольно однако. Своим обозрением я собрал достаточно материала, чтобы произвести точные выводы. Мысль Достоевского ясна. Две причинности может различить внимательный взгляд в ткани развертывающихся событий. Кроме явной, очевидной зависимости явлений существует иная, роковая их связь, менее ясная, зато более глубокая. Природная необходимость нигде не прерывается и сохраняет повсюду свою принудительную силу. Но не отменяя нисколько естественного причинного ряда, в нем и сквозь него дает о себе знать иная, более всеобъемлющая закономерность. Пусть в отдельности каждый факт логически объясним до конца, но их связь обнаруживает всю недостаточность изолированных объяснений и заставляет восходить к иному истолкованию, при котором углубленное наблюдение открывает в тех же фактах новый и неожиданный смысл. Короткое объяснение недостоверно: не охватывая сложности, оно призрачно и не реально; напротив, мировоззрение, усматривающее за отрывистой единичностью фактов их общее направление и взвешивающее их по результату, есть реализм в высшем смысле слова. Такой реалист кроме необходимости видит еще промышление. В мире природных процессов участвуют непостижимые силы. К ним прорывается обостренное зрение немногих чрезмерно разви-

тых умов. Не постигая вполне этих сил, он и не сомневается в их действии в человеческой жизни. По этому действию можно догадываться не только об их присутствии, но и сущности. Глубочайший дуализм разделяет их, и вся деятельность человеческая ознаменована их непрерывной борьбой. «Рука небес или сатана», — твердо договаривает Достоевский словами Димитрия свою мысль до конца. Мы вправе приписать эту мысль самому автору. Симфонически разрабатывая тему, неоднократно и в разнообразных вариантах внушает он свою идею в партии то одного, то другого персонажа. «Это делается высшею силою», — юродствуя и кривляясь, восклицает Снегирев в объяснение того, откуда человек приобретает привычку говорить с словоерсами. У Достоевского это постоянный прием: высокую мысль передать для выражения шутовскому лицу. «Николай Ильич Снегирев-с, штабс-капитан-с... Лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами... Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой». Голос Снегирева прерывается, как стук кастаньет, но подобно виолончели, звучит та же мысль в торжественных словах старца Зосимы. «И узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего». — «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал», — жалобной скрипкой поет Илюша. Тема вступает в новые партии и, как альпийский рожок, раздаются слова Алеши: «Я верю, что Бог устроит как знает лучше, чтобы не было ужаса». — «Я чуду верю. Чуду Промысла Божьего», — глухой волторной подхватывает Димитрий. И в конце романа еще раз и решительно: «суд мой пришел, слышу десницу Божию над собой». И договаривая мысль до конца, как тягучий фагот, слышится гнусавый голос Смердякова.

« — Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.

— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.

— Третий этот — Бог-с, самое это Провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете».

Дмитрий Сергеевич Дарский (1883—1957) — представитель того религиозно-философского направления в русской

критике и литературоведении, которое достигло блестящих высот к началу XX века. На 1914—1916 пришлись первые три книги Дарского («Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева», «Маленькие трагедии Пушкина», «Радость земли. Исследование лирики Фета»). После революции, которая в духовной области свелась к монополии на истину одного направления (материалистического по имени, позитивистского по сути), существование «идеализма» сделалось невозможным, он переместился в так называемое русское зарубежье. Оставшись на родине скромным библиотекарем Исторического, Литературного музеев, а затем уйдя в библиотеку Московской патриархии, Д. С. Дарский создал «русское зарубежье» внутри себя. Один за другим пишет он труды, которые не могли быть напечатаны. Среди них особое место занимают исследования творчества Достоевского.

Первое приближение к теме дает книга Дарского о «Маленьких трагедиях» 1915 года, где Пушкин был прочитан как бы глазами Достоевского — религиозного мыслителя и художника. Статья «Достоевский — мыслитель» (в сборнике «Творческий путь Достоевского», Л., 1924), единственная большая работа, напечатанная Дарским после революции, давала обзор «визионерских» высказываний романиста. Мистические мотивы в произведениях Достоевского Дарский объяснял своеобразной антропологией писателя — «мыслью о двойственности и незаконченности человеческой природы». Достоевский, полагает критик-интуитивист, уловил ту последнюю ступень истории человечества, когда «донельзя истончившаяся пленка отделяет нас от мира духов».

Публикуемая работа Д. С. Дарского, оставшаяся незавершеной, развивает основные положения статьи «Достоевский — мыслитель». «Братья Карамазовы» давали для этого богатый материал. Уже первые критики (Н. Протопопов, В. Чуйко и особенно М. Антонович) обвиняли автора романа в «мистицизме», полагая последний синонимом религиозного фанатизма. Между тем «мистика» в «Братьях Карамазовых» — и это хорошо показывает Д. С. Дарский — тонкий, диалектически-изощренный способ познания сокровенных тайн реального человеческого космоса (о чем в романе рассуждает старец Зосима — XIV, 290—291). Скорее всего, и сам Дарский принадлежал к тому же роду «широких» мистиков, о которых писал Д. Н. Овсянников-Куликовский: «Их вера несокрушима, как и их мистическая экзальтация, но у них нет

того порабощения личности гнету властной идеи, которое составляет психологическую сущность фанатизма» («Что такое мистика?» — «Вестник Европы», 1916, № 10, с. 158).

Прочтение, предложенное Д. С. Дарским, актуализирует те именно законы романного мира «Братьев Карамазовых», которые обычно ускользают от «социологических», «морализаторских» и «поэтико-технологических» трактовок.

Статья Д. С. Дарского печатается с сокращениями по рукописи (ЦГАЛИ, ф. 2113, оп. 1, ед. хр. 4).

Публикация и послесловие В. А. Викторовича.